

A watercolor illustration of a bird in flight, possibly a grebe, with a long, straight, reddish-brown beak and a dark head. The bird is shown in profile, flying towards the left. Its wings are spread wide, with detailed feather patterns. The background is a mix of light and dark blue washes, with fine, dark lines suggesting movement or the texture of the air. The overall style is soft and painterly.

*Ольга
Андреева*

НА
ПТИЧЬИХ
ПРАВАХ

Ольга Андреева
На птичьих правах

«Алетейя»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

Андреева О. Ю.

На птичьих правах / О. Ю. Андреева — «Алетейя», 2018

ISBN 978-5-907115-40-8

Восьмой поэтический сборник Ольги Андреевой включает произведения последнего десятилетия, отражая в полной мере его динамичность, эмоциональную насыщенность и непредсказуемость. Поэзия для автора – средство найти маленький плацдарм радости на этом жестоком театре военных действий. Тут не может быть иных благотворных рецептов, кроме обращения к незащитной и всемогущей красоте, и символ ее, давший название книге – птицы, взгляд на которых почти неосознанно смешан с лексикой нашей суматошной цивилизации. Название сборника подчеркивает его смысловую многозначность, право автора на свободу от заданности, от шаблонности стиля и настроения. Многозначная метафоричность естественно связана с живым, острым, парадоксальным впечатлением от мира, дух Дидея-птицелова, стихийного поэта, царит на страницах сборника. Увидеть, принять, поделиться, увеличивая этим остров стабильности, территорию любви – главный для автора принцип поиска лучшего в нас и для нас. Нерв книги – поиск чистого от лжи пространства, а разноплановость стихов – от потока сознания до великолепной буколички – усиливает впечатление.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-907115-40-8

© Андреева О. Ю., 2018

© Алтейя, 2018

Содержание

«В каждой луже – Венеция. Истина в каждой погоде.»	7
1. «Они не знают зеркал...»	11
«Лес рубят – щепкой улетаю...»	12
«Там, волнуя траву, мягко стелются овцы...»	13
«В огороде бузина...»	14
Автобус Ростов-Одесса	15
«В резиновом автобусе веселье...»	16
«Я с годами сильнее привязалась к Итаке...»	17
Поэт в своём отечестве	18
«Катерок пожарный на закате...»	19
Ева	20
«Саламандры лесов подмосковных ещё не натешились...»	21
«Где же дяди и тёти, которых я видела в детстве...»	22
«Свет не сходится клином – он в принципе создан иначе...»	23
Площадь 2-й пятилетки	24
«Научи меня, Господи...»	25
Русскому языку	27
«Сверху падало небо...»	28
«Я родилась в игрушечном раю...»	29
«Это февральский Ростов. Это Кафка...»	30
2. «Не прокляй мне висок – он ещё пригодится...»	31
«На изгибе весны, на суставе грозы с потепленьем...»	32
«Твои диктанты всё короче...»	33
«И кризис, и холодная зима...»	34
«Воскресение. Чайно-ореховый омут...»	35
Новый Афон, пещера	36
«Этот город накроет волной...»	38
«Жить можно, если нет альтернатив...»	40
«Истеричный порыв сочинять в электричке...»	41
«Диктат языка начинается с табула расы...»	42
Ушедшему лету и новому фонтану на набережной	44
Александрю Соболеву	46
«А снег так и не выпал. Он кружил...»	48
3. Ласточке	49
«Когда проходит время сквозь меня...»	50
«Модем зарницы мечет. Тень от люстры...»	51
Домбайское	52
«Не стало блаженных – и кто нам предскажет пожары...»	54
«Только в пять выхожу...»	55
«Декабри не кончаются, это пустые листы...»	56
«Мой двор, лоскут вселенной отрезной...»	58
«Полусонной стопой зацепившись за стебель колючий...»	59
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Ольга Андреева

На птичьих правах

© О. Ю. Андреева, 2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

«В каждой луже – Венеция. Истина в каждой погоде.» О поэзии Ольги Андреевой

«Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмещивается в его настоящее. Существуют, как мы знаем, три метода познания: аналитический, интуитивный и метод, которым пользовались библейские пророки – посредством откровения. Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она пользуется сразу всеми тремя (тяготея преимущественно ко второму и третьему), ибо все три даны в языке; и порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал, – и дальше, может быть, чем он сам бы желал.»

ИОСИФ БРОДСКИЙ

Не могла удержаться, чтобы не привести эту развернутую цитату из Нобелевской лекции Бродского. Поистине, только человек, изнутри понимающий процесс стихосложения, мог сравнить методы познания с процессами, происходящими в момент возникновения поэтического произведения. «...Интуитивный и метод, которым пользовались библейские пророки – посредством откровения». Этимология слова «стихотворение» – творение стихийного характера. Иногда – это землетрясение, разрушительное и слепое, а порой – капли весеннего дождя и восход солнца. Это зависит от степени таланта, то есть от способности поэта услышать, принять и преломить в литературную форму импульсы, получаемые им извне.

Поэзия в переводе на немецкий – die Dichtung. Но в словаре это значение обнаруживается лишь в статье под номером 2. А первым, изначальным его смыслом является слово «уплотнение». Интересно? Да, иной язык, иное восприятие мира. Уплотнение реальности, ее сгусток, ее квинтэссенция. Учившийся в Гейдельбергском университете Осип Мандельштам органично воспринял эту грань философии поэтического творчества, отсюда: «Зрелище математика, не задумываясь, возводящего в квадрат какое-нибудь десятизначное число, наполняет нас некоторым удивлением. Но слишком часто мы упускаем из виду, что поэт возводит явление в десятизначную степень, а скромная внешность произведения искусства нередко обманывает нас относительно чудовищно уплотненной реальности, которой оно обладает» («Утро акмеизма»).

Но довольно теоретизирования. Тема моего очерка – творчество поэтессы Ольги Андреевой, произведения которой открывают читателю сложный и многоцветный мир, мозаику чувств и восприятий.

«В каждой луже – Венеция. Истина в каждой погоде.
Ты и правда со мной? Так держись глубины и не бойся!
Я поверю тебе, что и впрямь от меня происходят
безутешная радость и непоправимая польза».

Если бы мы научились видеть этот «другой» язык, мы бы увидели примерно то же, что видит, например, замечательный фотограф Инна Глик в лужах Петербурга – свой, отраженный, преломленный Петербург. Мир поэзии Ольги Андреевой – живой, населенный, говорящий с нами на своем, может быть, сначала и не совсем понятном языке. Этот мир надо познавать,

разгадывать, проникать в сложность его образов, прислушиваясь к себе и к своему, уже нарабатанному образному ряду. Процессу понимания порой мешают «соринки» в форме несовершенной или далеко отодвинутой рифмы, но терпеливый читатель будет вознагражден. В отличие от прозы, поэзия нуждается в читателе, не столько понимающем ее на уровне контекста, сколько оказавшемся в точке совпадения вибраций. Осип Мандельштам в своем «Разговоре о Данте» призывает «слушать» сложное произведение поэта как оркестр, и тогда «...мы бы нечаянно окунулись в силовой поток, именуемый то композицией – как целое, то в частности своей – метафорой, то в уклончивости – сравнением, порождающий определения для того, чтобы они вернулись в него, обогащали его своим таяньем и, едва удостоившись первой радости становления, сейчас же теряли свое первородство...». Так, стоя перед наивно-философскими полотнами Шагала, каждый из нас видит лишь то, что на основании накопленного эстетического опыта отзывается в душе.

«Родной хризантемовый запах
опять возвращается в город —
наверно, из рая. Погода
и правда сегодня такая,
в волошинские пейзажи
туман обращает предгорья.
В его пустоту и свободу
покорно и грустно спускаюсь...»

Чистая прелесть этих строк – именно в незатертости образов и сближений, в каждом восьмистишье этого стихотворения Андреевой различимы аллюзии и проекции человека эмоционального и восприимчивого. Ценность этих «агатов» в их многоплановости. По этим строчкам не скользнешь взглядом, они интригуют пытливого, но раздражают ленивого, как и поныне раздражает великий Осип Мандельштам «нелюбопытного» читателя. Много ли из написанного им можно понять с помощью формальной логики? Но именно о нем сказала Анна Ахматова «...кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама!». Я далека от мысли сравнивать творчество нового для меня (хотя и, несомненно, талантливого!) автора, Ольги Андреевой, с поэтом, создания которого – являются лучшим из того, что могло случиться в нашей литературе. Однако, и не заметить творчества Андреевой было бы, по меньшей мере, странно, а отмести его как «непонятное» – опрометчиво.

Я приеду в июне —
и пусть это будет паролем,
словно крюк на заброшенной вверх, на зацепку, верёвке,
по которой сумеем добраться.
Конверт бандероли
доплывёт, как кораблик – всего-то осталось дней двадцать.

«Я приеду» – как будто бы это хоть что-то решает,
как залог радикального и несомненного лета,
Пусть гора не пришла к Магомету – оранжевый шарик,
улетая, не тает – и это надёжней билета.

Я приеду. Я сяду на грустный безрогий троллейбус,
заблудившийся месяц назад в голубом переулке.

По изнанке души белой ниткой заштопанный ребус
разгадаем вдвоём ранним утром на улице гулкой.

В каждой луже – Венеция. Истина в каждой погоде.
Ты и правда со мной? Так держись глубины и не бойся!
Я поверю тебе, что и впрямь от меня происходят
безутешная радость и непоправимая польза.

Ну к чему – в сумасбродном, нелепом, разодранном мире
одуванчики звёзд – ярко-жёлтых и белых, созревших?
Пусть ни разу ещё дважды два не равнялось четыре —
мне хватает и двух – параллельно петляющих рельсов.

Кипарисы парят, подавляя своим благородством,
пересмешник-ручей, растворивший печали долины.
Перейдём – дорастём до границ настоящего роста,
без наивной копеечной злой суеты воробьиной.

Желторотая улица утро встречает прохладой,
на балконах дрожащая радуга детских колготок.
Осторожней на третьей ступени минорного лада,
не шути с невесомостью. Можно взлететь где угодно —

в школьном зале, пропахшем стоячей водой батарейной,
у рояля без струн и без верхних пластинок на белых
разгадаем дыхание левого берега Рейна
и фонтан под дождём (тавтология!) – в пальчиках беглых.

Ничего, что антенны развёрнуты мимо эфира —
да о чём говорить, если мы бесконечно знакомы?
Верить снам и приметам, параметрам внешнего мира —
всё равно что ключи подбирать, когда ты уже дома.

Не тупик – просто узкий и длинный кривой переулок.
Он зарос лебедой, крапивой и корявым забором.
Всё срастётся. Опасное место для пеших прогулок —
но ручей-то течёт. Вдоль по руслу – и вырвемся скоро,

и возьмём хоть на время без спроса автограф у лета —
чтобы травы, цикады и диск апельсиновый лунный,
чтобы в маленькой церкви на Троицу – «многая лета»
сквозь магнитные боли земли. Я приеду в июне.

Восприятие этого большого стихотворения требует «длинного дыхания». Столь «круто замешанный» образный ряд, нагромождение образов, не делают тем не менее эти катрены «заумью». Полупрозрачное стекло кристаллов доносит то, что хотел сказать автор, не напрямую, а преломляясь по пути в сотне других граней.

И если вы научитесь ощущать гармонию «непонятных» стихотворений, по праву станете счастливчиком, всякий раз открывающим для себя новую планету в Галактике под названием Поэзия.

Наталья Борисова, поэт и переводчик

1. «Они не знают зеркал...»

*Они не знают зеркал.
Их отражение – полёт.
На волглых пролежнях скал
небесной манны склюёт —
и вновь вольна и легка,
что в ней? – всего ничего.
От сильных мира сего —
к счастливым мира сего.*



«Лес рубят – щепкой улетаю...»

Лес рубят – щепкой улетаю,
полёт – прекраснейшее время,
короткое – но сколько смыслов —
когда подхватит щепку ветер,
когда очнётся в ней Скиталец,
эгрегор срубленных деревьев,
туман подсвечен коромыслом —
расслабься и лови просветы

сквозь вавилоны революций.
Что вы хотите от блондинки?
Везёт нас под Червону руту
шофёр с георгиевской лентой,
поскольку неисповедимы
пути миграции оленей,
и ассирийцы в медных шлемах
склонятся низко над суглинком

чуть выше верхнечетвертичных
делювиальных отложений,
и, не учтя мой опыт личный,
меня назначат первой жертвой.

«Там, волнуя траву, мягко стелются овцы...»

Там, волнуя траву, мягко стелются овцы,
сами – волны, опаловы, пеги, черны,
и невинны... Их суть – из бесчисленных опций —
там, где стелются овцы – нам не до войны.
Где в зените акации отяжелели
знойным маревом, и опоили июнь,
воздух гуще, и овцы плывут еле-еле
по летейским волнам, и неслышно поют,
в серебре встань-травы, в сонмах ласковых духов,
с детским сонным доверьем левкой звенят,
отголоски беды не касаются слуха
и не тронут тринадцатидневных ягнят.

Над равнинной рекой – к водопою – склониться
и протечь вдоль неё чуть повыше – туда,
где не так безнадежно чернеет вода
и ещё пробивается свет сквозь ресницы...

«В огороде бузина...»

В огороде бузина,
а в Киеве сектор.
Надо вычерпать до дна
этот горький вектор.

Здесь мы ляжем, но пройдем,
связанные кровью,
всё, чего не смыть дождем,
спрячем в изголовье,

что не вытравить в душе
даже автомату,
что прошло на вираже
через ридну хату.

А в Киеве Бузина...
Омутом дурного сна,
символом инферно
слабонервная весна —
Русская, наверно.

Дошепчу свой дикий стих
мёртвыми губами,
ворд поправит, бог простит,
прокурор добавит,

люди цену назовут
ломаному грошу,
с головы платок сорву —
им под ноги брошу.

Автобус Ростов-Одесса

Золотые подсолнухи, тряска разбитых дорог,
серебристой маслины дичок раскудрявил пространство.
Это родина, мама, любовь, это дети и бог,
всё моё, всё, чем держится мир, соль его постоянства.
Павиличьего цвета растрескавшиеся дома.
Я вольна не спешить, не мудрить, быть блаженно неточной.
Но с другой точки зрения эта свобода – тюрьма,
значит, буду держаться подальше от названной точки.

Факты – вещь не упрямая, нет – их довольно легко
размешать, измельчить, выпечь с корочкой, сдобрить корицей,
но всегда горьковато у дикой козы молоко,
и всегда виновата от всех улетевшая птица.
А в разреженном воздухе пули быстрее летят,
это если – в горах, там и мысли мелькают быстрее,
а в степи – висают... Лишь дикий горчит виноград...
С точки зрения ангела – быстро летим. Всё успеем.

«В резиновом автобусе веселье...»

В резиновом автобусе веселье.
Ты пробку, давку, сам себя прости.
В своих больших, распахнутых и серых
всего и не пытайся уместить.

С тех пор, как люди изгнаны из рая,
вот так и ездим – а кому легко?
Младенцы с крокодилами играют,
и Ромул пьёт волчицы молоко.

Как правду режут – в украинских, в русских —
на лживые газетные листы —
в своих весёлых, чёрных, умных, узких —
не фокусируй, сплюнь, перекрестись.

В своих зелёных, влажных и раскосых
не отражай чужого торжества,
ведь каждый мелкотравчатый философ
тут состоит из антивещества.

Не красота спасает мир, а зрячесть,
не слушай – просто жми на тормоза,
пока не отразилась сверхзадача
и счётчики кровавые в глазах.

«Я с годами сильнее привязалась к Итаке...»

Я с годами сильнее привязалась к Итаке —
я вольна иногда выбирать несвободу —
от чего захочу – в том и смысл, не так ли —
нам решать, кто нас радостно встретит у входа.

Полный дом переломанных стереотипов,
в нём и жить невозможно – немного традиций
всё же надо оставить – иначе увянет
и цветок на окне и гирлянда на ёлке
(не пора ли убрать?) – ну ещё полстраницы...

Полстраницы всего – и на выход с вещами,
душу тянет в воронку – не спрячешь, не скроешь.
Мне моя голова ничего не прощает,
мы по разные стороны линии фронта,
объявила войну, скоро вовсе забанит,
будут добрые ангелы в белых халатах,
затворюсь под живучей, как кошка, геранью,
чтобы весь этот мир объявить виноватым.

Vita brevis, а прочее – спорно, неточно.
Каждый день собираю себя из кусочков,
на которые ты меня к вечеру крошишь,
я срастаюсь всё дольше, теряются пазлы,
так и лезут, царапая, злые лушпайки —
нелегко отделяются зёрна от плевел,
плач дельфина – два вдоха и выдох – попробуй,
да помогут дельфины пройти этот левел.

Поэт в своём отечестве

«Я пятая ваша колонна,
незыблемая и сквозная,
в прогнившей с фундамента башне —
на мне ещё держится небо,
во мне ещё теплится слово,
я смыслы забытые знаю
и буду цепляться зубами
за боль, уходящую в небыль —

в Лумбини, на родине Будды,
в Гранаде, на родине Лорки,
у южной границы России,
которую жаждут подвинуть
срывать ваши фантики буду,
всю мерзость культурного слоя...»
А небо хлестнёт парусиной.
Простреленный небом навывлет —

он был мудаком и поэтом,
поэт оказался сильнее
и выдохнул чистое, злое
и трезвое – прямо навстречу
и граду, и миру, и лету,
и всем, кто восторженно блял,
рифмуя циклоны и лоно,
утешены собственной речью.

Но он уступил под напором
неопровержимых улиток —
нас лучше не сталкивать лбами,
а выждать – когда же отпустит...
Поэма есть маленький подвиг —
но вряд ли попытка молитвы.
В ней смыслов – как снега за баней,
найдёшь, как младенцев в капусте.

Читатель дуб дубом – но крепок,
плюс дырка в иммунной системе —
поэтому склонен к фашизму —
но вряд ли готов согласиться
с такой оговоркой по Фрейдю —
дозируйте темы поэмы
в разумной пропорции с жизнью,
слоняясь в берёзовых ситцах.

«Катерок пожарный на закате...»

Катерок пожарный на закате
так придирчив к тлеющим огням.
Солнце в реку падает – не хватит
вашим шлангам метров, сил ремням,

уберите рукава брезента —
Дон несёт к небесному огню,
слишком сильно смещены акценты
в радости троянскому коню.

Прилетает ангел-истребитель —
страшен, да не воду пить с лица,
наступили мартовские иды —
и с тех пор не видно им конца.

Ева

Всех и дел-то в раю, что расчёсывать длинные пряди
и цветы в них вплетать. У Адама ещё был треножник,
он макал рысью кисть – и стремительно, жадно, не глядя
создавал новый рай – и меня. Он пытался умножить,
повторить... Мы – не знали. Кто прятал нас? Вербы? Оливы?
Просыпались в лугах и под ясеневым водопадом,
не твердили имён и не ведали слова счастливый,
ничего не боялись – в раю не бывает опасно.

Там, где времени нет – пить на травах настоящий воздух...
Я любила рысят, ты любил пятистопный анапест,
лягушачьи ансамбли и тех кенгуру под берёзой.
Мы не знали, что смертны, и даже что живы – не знали.
Быль рекою текла, вряд ли я становилась умнее,
наблюдая, как птицы отчаянно крыльями машут,
огород городить и рассаду сажать не умели —
а в твоём биополе цвели васильки и ромашки.

Но закончилось детство – обоим вручили повестку —
и с тех пор мы во всём виноваты, везде неуместны.
Мы цеплялись за мир, за любую торчащую ветку.
Нас спасёт красота? Ты и правда во всё это веришь?
Все кусались вокруг, мы старались от них отличиться...
Кроме цепкости рук – только блики недолгого счастья.
Корни страха длиннее запутанных стеблей свободы.
Только в воздухе что-то – пронзительно-верно и больно...

«Саламандры лесов подмосковных ещё не натешились...»

Саламандры лесов подмосковных ещё не натешились.
Под снегами торфяники тлеют, шевелятся волосы
буреломов, сгоревшие звери, русалки да лешие
колобродят в ночи, да горельника чёрное воинство...
Мир языческий – ладный, отзывчивый – мимо проносится,
наши скорости не допускают прислушаться к дереву,
отразиться в ручье, дожидаясь, пока мироносицы-фитонциды
летучие снова живым тебя сделают.

Все мы тут погорельцы. Растоптано и исковеркано,
что росло и струилось, цвело, ошибалось и верило.
Жаль побегов – в тени, где ни солнца, ни смысла, ни вечности —
тоже ведь веселы и беспечны, наивны и ветрены.
Ждать добра от добра в этой дикой чашобе заброшенной?
Да кому тут нужны наши дети с открытыми лицами.
Перегретый город простит несуразность прохожему
с неуёмной нелепой неумной гражданской позицией.

Нам к лицу Исаакий – отнюдь не теплушки вагонные.
Всякий храм – на крови, если сора из храма не вынести.
Небо держат атланты, мы их заменили колоннами —
но они усмехнулись подобной дикарской наивности.
Нашим рыжим опять биографии славные делают,
повторяется фарс белой ниткой прошитой истории.
Здесь останется лес и бельчонок в ладонях у дерева —
звонким цокотом, лёгким метанием в разные стороны...

«Где же дяди и тётки, которых я видела в детстве...»

Где же дяди и тётки, которых я видела в детстве?
Те же девочки, мальчики – что же я с ними на вы?
Эти бороды, эти седины, морщины... Вглядеться —
все, кому я так верила раньше,
похоже, волхвы —
не волшебники, просто учёные —
опытом жалким,
(был бы ум – меньше опыта было бы...)
Веки красны —
значит, завтра зима обнажит прописные скрижали
и к земле пригвоздит. Чё мы ждём-то? Растущей луны?

«Осторожно, ступеньки» —
внезапно в музее. Спасибо,
очень вовремя, всюду Италии тают холмы...
...И кофейник внести, белой шалью прикрыв от росистой,
зыбкой зорьки свой мир —
тихий завтрак во время чумы.
И пока под ковром обостряется драка бульдогов,
пробираясь под брюхом баранов, я к морю прорвусь,
быть в плену у баранов забавно, но очень недолго...
Сыр сычужных сортов я не ем, но не жить же в хлеву.

Беззащитные красные веки у женщин Ван Дейка —
это не обо мне,
я гляжу исподлобья в упор,
в этой цепкости рук, хоть и слабых, уверена с детства —
не отвертись, вместе,
подумаешь – там светофор...
Жизнь становится слишком короткой —
была бесконечной.
Нервным кончиком ветка вцепилась
в последний листок,
просчитавший лекало своей траектории встречной —
что с того, что циклону на запад.
Ему – на восток.

«Свет не сходится клином – он в принципе создан иначе...»

Свет не сходится клином – он в принципе создан иначе
и заточен под веер, порой уступающий тени – тот, японский...
раз клетка открыта, а птица внутри – это значит,
ей не надо летать, хоть могла бы по праву рожденья.

Водопады отчаянья льются с висков по гортани.
Да с чего бы? Поглубже вдохни, можжевельник утешит.
Капиллярный подсос метафизики из подсознания
снизойдёт к нелогичным весёлым русалкам да лешим.

Ради цельной картины пришлось пренебречь мелочами —
и состарились. Мелочи, в принципе, делают детство,
в смысле – радость... Осталось расталкивать пипл плечами —
дежавю, повторяемся. Пройдено, некуда деться,

чистый Чехов кругом, торжество несмешного закона,
и сама-то не лучше – иду, где протоптано – жутко,
и уже на последней секунде бегу на зелёный —
мне в награду за дерзость подходит восьмая маршрутка.

Я танцовщица будто. Об этом спросите у тени,
Может, вам объяснит. Мне велит, ничего не решая
и не слушая жалоб на занятость, хитросплетенья
суеты – удержат балансир на поверхности шара.

В день рождения Будды мы выпили чашу муската,
эта ложь во спасение – очень опасный наркотик.
Все желанья твои есть твои ахиллесовы пяты,
візерункове скло, правда, я обмануться не против.

Ветер взяв за крыло, как-нибудь поднимусь по Рельефной,
оглянусь – и замру от резной синевы и прозрачной —
до Азова – планеты. Возможно, мы выживем, если
нас захочет спасти красота. Впрочем, неоднозначно.

Площадь 2-й пятилетки

В чудесном месте – и в такое время!
Последней лаской бередит октябрь,
плывёт покой над хосписом. Смиренье
и взвешенность в струящихся сетях.

Как трудно удержаться от иллюзий.
Глазам не верю – верю своему
слепому чувству. Кто-то тянет узел
и плавно погружает мир во тьму.

Рыбак свою последнюю рыбалку
налаживает в мятом камыше,
шар золотой падёт, как в лузу, в балку,
за Темерник, и с милым в шалаше

нам будет рай. Но где шалаш, мой милый,
и где ты сам? Как хорошо одной.
За этот день октябрьский унылый
прощу июльский первобытный зной.

Стрекозы, да вороны, да листва,
я, бабочки – совсем немногочленно.
До доньшка испить, до естества
прозрачный тонкий мир уже нетрудно.

Я наконец-то становлюсь спокойной,
когда уже побиты все горшки,
горят мосты, проиграны все войны
и даже стихли за спиной смешки.

В нирване пробок, в декабре, с утра,
в родимых неприветливых широтах
припомню, как скользит твоя кора,
а я не знаю, вяз ты или граб,
по времени скользя, не знаю, кто ты.

«Научи меня, Господи...»

Научи меня, Господи,
просто, свободно писать,
взять стило и писать,
позабыв о форматах и стилях

тех, кто знает, как надо...
Забывать о долгах, о часах,
о холодной ломающей боли —
когда не любили.

Не на север, не в лодке,
не в холод, не в дождь, не в мороз,
а в озноб подсознания,
в ересь похожих, безликих,

как в аду,
в сырый ком закипающих слёз,
оплетённый кругом
постулатами странных религий.

На кушетке у Фрейда
я вспомню такие грехи,
за которые вертятся
на электрическом стуле.

Научи ворошить
мой надёжно укрытый архив
отделяя от боли
всю прочую литературу.

Мозг инерции просит,
не хочет спиральных свобод,
неучтённых, опасных,
лихих, не дающих гарантий,

не дающих плодов,
уносящих бурлением вод
и ребёнка в тебе —
под сомнительным кодом «характер».

Серпантины уводят
всё дальше от плоской земли,
сублимации, скуки,
привычки, инерции, дрёмы.

Про Русалочку – помнишь?
Часы отключились, ушли
вверх по склону – и в вечность
с постылого аэродрома.

Я останусь вверху, на плато,
здесь наглядней дела
и слышнее слова Твои —
ближе, наверное, к дому.

Архимедов огонь
насылают Твои зеркала
на корабль – и пылет фарватер
так странно знакомо...

Русскому языку

Язык мой, враг мой,
среди тысяч слов
твоих, кишачих роем насекомых, —
нет, попугаев в тропиках, улов
мой небогат и зелен до оскомы,

и слишком слаб,
чтоб миру отвечать —
когда мгновенье бьётся жидкой ртутью,
косноязычье виснет на плечах —
а значит, ослабляет амплитуду.

Я не могу
поссориться с дождём —
наверно, русский речь меня покинул.
И старый добрый дзэн меня не ждёт.
Шопеновская юбка балерины

не прикрывает
кривоногих тем,
морфем и идиом – но я причастна!
И я, твоя зарвавшаяся тень,
ныряю в несжимаемое счастье.

«Царь-колокол».
«Гром-камень». «Встань-трава».
О, не лиши меня попытки слова,
пока такие ж сладкие слова
не разыщу на глобусе Ростова!

Вступили в реку —
будем гнать волну.
Что ж нам, тонуть? Куда теперь деваться?
Всё разглядим – и выберем одну
из тысячи возможных девиаций —

верней – она
нам выберет звезду.
И полетит сюжет, как поезд скорый,
и я в него запрыгну на ходу
пускай плохим – но искренним актёром.

«Сверху падало небо...»

Сверху падало небо,
слоями на землю ложилось,
постепенно светлея.
Его колдовским хороводом
заморочен, поверил бы истово
в горнюю милость —
но себе не солжёшь
на детекторе полной свободы,
но в е-мейле у ангела
тоже есть слово собака,
элевсинских мистерий двусмысленность,
спесь первородства, —
не высовывай голову! Небо светлеет, однако
время плотно сжимается и надо мною смеётся.

Не сливайся с пейзажем,
он много сильней, он повяжет,
засосёт – не заметишь,
сопьёшься, сольёшься, сотрёшься
и ни слова не скажешь —
инерция пухом лебяжьем,
тихим тёплым теченьем заманит,
как кошку прохожий,
Одиссея – Калипсо. На пике любви и опалы
так легко раствориться
в усталости сиюминутной.
Утро – свежий цветок,
правда, мы в нём – какие попало,
недоспавшие зомби,
измятые в тесных маршрутках.

Повинуйся порывам!
Им было непросто прорваться
сквозь дремучую косность
депрессий, рефлексий, амбиций —
и затеплить свечу.
Не пугайся своих девиаций,
с Дона выдачи нет.
Изумиться, поверить, влюбиться,
в кружевном многомерном плетенье
немею и внемлю,
осыпается небо – доверчиво, бережно, хрупко,
и летят лепестки на прощённую грустную землю,
укрывая нежнейшим покровом нарывы и струнья.

«Я родилась в игрушечном раю...»

*Мой городок игрушечный сожгли,
И в прошлое мне больше нет лазейки.*

А. Ахматова

Я родилась в игрушечном раю.
Порой он, правда, притворялся адом.
Там в голову беспечную мою
назойливо ввинтилось слово «надо»,
такое инородное. Реки
изгибы в балке прятались без счёта,
казались высоки и далеки
цветные двухэтажные хрущёвки.

Я родилась поддерживать очаг
и Золушкой копать в мелочах,
учиться чечевицу от гороха
хотя бы понаслышке отличать.
И да минует случай страховой
лоскутный свет – и ласковый, и ладный,
где с миром был надёжный уговор
у детства – в каждой клеточке тетрадной.

Рука слегка в чернилах – это я
теряюсь от сложнейшего вопроса —
какого цвета спинка воробья?
И бантики в горошек держат косы.

Тут раньше было дерево. Оно
пило корнями, возносилось в небо,
листвой светилось и цвело весной,
в ликующей головке быть и небыль
сплетая в пряди, дождевой водой
промытые, змеилось сквозь тетрадки.
Теперь тут только крыши чередой
и дымоходы в шахматном порядке.

Мы гаснем долго, искрами во тьме —
вдруг занявшись и описав кривую,
немыслимую, сложную – взамен
луча, стрелы, мы проживаем все
и неумело... Но горим пока.
Как только отпущу своё начало —
я стану тенью в роговых очках,
как все, кто больше свет не излучает.

«Это февральский Ростов. Это Кафка...»

Это февральский Ростов. Это Кафка.
Серое мутное жидкое небо.
Город бессилён, контакт оборвался
оста и веста, и севера с югом.
Мерзко, но цельно зияет подсказка
в грязных бинтах ноздреватого снега:
всё завершится сведённым балансом —
жадность и страх уничтожат друг друга.

Не соскользнуть бы в иллюзию. Скользко.
Под сапогом мостовая в движение
кобры шипучей. Портовые краны
кромку заката изрезали в раны.
Тот, кто взошёл на Голгофу – несколько
не нарушает закон притяженья.
Можно об этом поспорить с Ньютоном
запанибродским этаким тоном.

Почерк врача неразборчив – подделай
всё, от анамнеза до эпикриза:
может, дозиметры и не зашкалят,
только повсюду – приметы распада.
Выпить цикуту? Уйти в декаденты?
В партию «Яблоко»? В творческий кризис?
Я ухожу – я нашла, что искала —
в сказочный город под коркой граната.

2. «Не прокляй мне висок – он ещё пригодится...»

*Не прокляй мне висок – он ещё пригодится
нам с тобой, моя нетерпеливая птица,
по калибру колибри, фламинго по сути,
мне фламенко твоей нестихающей сутры
так понятно и близко – да на сердце пусто,
тут гори-не гори – всё равно не отпустит,
несжигаемый стержень внутри оперенья
неохотно поддерживая горенье —
сталактитом пещерным, колонной античной,
черепашкой без панциря – ах, неприличной,
Крейзи Грант по волнам, по барханам медовым
на порог болевой – восходи, будь, как дома.
Этот свет золотых и пустынных оттенков
так неровно дрожит – видно, скоро погаснет,
я приму это easy, не бейся об стенку,
не коси этот камень в висках мне – напрасно,
разве я человек? Я всего лишь апостол,
и моё отражение – только витрина
всех моих заблуждений. Ты думаешь, просто
перед учителем встать с головою повинной,
не найдя никакого решения задачи?
Спи, глазок, спи, другой – а про третий забуду,
он не даст мне соврать – так жила, не иначе —
и потащат вину караваны верблюдов.
И пускай в мою честь назовут новый комплекс,
только ты – улетай с нехорошей квартиры.
Где твои амулеты? Надёжен ли компас?
Я тебя отпущу в Благовещенье – с миром.*

«На изгибе весны, на суставе грозы с потепленьем...»

*Я люблю одинокий человеческий голос, истерзанный любовью.
Федерико Гарсиа Лорка*

На изгибе весны, на суставе грозы с потепленьем,
с набуханием почек, паническим ростом травы,
разветвленьем суждений о жизни и воцерковленьем
всех агностиков – к Пасхе, с прощеньем чужой нелюбви,
во младенчестве млечном и солнечном Вербной недели,
сквозь десант одуванчиков в каждый очнувшийся двор
прорастает отчаянно глупое счастье апреля,
просто так, от души, нашей злой правоте не в укор.

Как на скалах цветы – не для нас распускают созвездья
в раннем марте, под снегом, на северных склонах, во мхах —
да кому мы нужны с нашей правдой, и болью, и жестью,
вечной просьбой бессмертия и паранойей греха —
в царской щедрости мокрого парка. Так что ж мы, уроды,
сами сбыться мешаем своим нерассказанным снам?
Под раскаты грозы пубертатного времени года
в мир, любовью истерзанный, всё ещё входит весна.

«Твои диктанты всё короче...»

Твои диктанты всё короче —
Ты больше стал мне доверять?
А может, меньше? Между прочим,
я разучилась повторять
слова молитвы. Паранойя
терзает эпигонов всласть,
те, кто спасён в ковчеге Ноя,
хотят ещё куда попасть,
да забывают от азарта,
о том, что человек не зверь,
что золотому миллиарду
не уберечься от потерь,
что голодающие дети
нам не простят своей судьбы,
и много есть чего на свете,
что не вмещают наши лбы —
упрямые от страха смерти
и робкие от страха жить.
Не для меня планета вертит
Твои цветные витражи,
В мозгу искажены масштабы —
пыталась верить, не любя,
а без задания генштаба
так сложно познавать себя,
не отвратит Твой гневный окрик
от эйфории, от нытья,
и я сама себе апокриф,
сама себе епитимья,
сложнее пуританских правил
нескромное Твоё кино,
порой Твой юмор аморален —
но что поделаешь – смешно.

«И кризис, и холодная зима...»

И кризис, и холодная зима —
но есть БГ. Семь бед – за все отвечу.
Наушники не стоит вынимать —
без них так страшно. Нелогичен вечер,
негармоничен – этот лязг и визг
недружественный, слякоть, оригами
двумерных ёлок, плоских, грузовик
наполнивших рядами, штабелями,

и радио в маршрутке. Стёб да стёб
кругом. И кризис бродит по Европе.
Бьёт склянку колокол. И музыка растёт
в наушниках. Свободна от оброка
произнести, не применяя ямб
тот монолог, что сам в меня вселился.
Мороз крепчал – надёжный старый штамп,
мороз крепчал – и Чехов веселился.

Её материал – сплошной бетон,
а ты в него вгрызаешься зубами,
пока не разглядишь, что небосклон
не над тобой уже, а под ногами,
вокруг, везде... И призраки мостов
встают в тумане. Встречных глаз унынье.
Звезда над филармонией. Ростов —
сверхперенаселённая пустыня.

По мне звонит в кармане телефон.
Спасибо. Доживём до новых вёсен.
Я принимаю, узнаю, и звон
мобильника приветствует – прорвёмся.

«Воскресение. Чайно-ореховый омут...»

Ты можешь подвести коня к реке, но ты не можешь заставить его пить.

Восточная мудрость

Воскресение. Чайно-ореховый омут
глаз напротив. Как редко играем мы с ней!
Наши шахматы можно назвать по-другому,
потому что Алёнка жалеет коней —
и своих, и моих. Отдаёт, не колеблясь,
и красавца ферзя, и тупую ладью,
но четыре лошадки, изящных, как лебеди,
неизменно должны оставаться в строю.

От волнения у пешки затылок искусан,
в каждой партии странные строим миры.
Я иду вслед за ней в этом важном искусстве,
я учусь выходить за пределы игры.
Надо выдержать паузу, выдержать спину
и подробно прожить откровения дня.
Эта партия сыграна наполовину.
В ферзи я не хочу. Отыграю коня.

Торжество справедливости – странная помесь
пустоты и досады – сквозь пальцы улов.
Выхожу на спираль – если вовремя вспомню,
что великий квадрат не имеет углов¹.
Ни корон, ни дворцов, ни слонов, ни пехоты,
перейду чёрно-белых границ череду,
распущу свою армию за поворотом
и коня вороного к реке поведу.

¹ Из «Дао-де-цзин».

Новый Афон, пещера

Там солнце рыщет спаниелем рыжим,
но прямоугольные миры
и первобытный хаос неподвижны
внутри курчавой Иверской горы,
лишь факельных огней протуберанцы.
Не обернусь, но знаю наизусть —
такой организацией пространства
теперь я никогда не надышусь.

Под трещинами каменного неба
неровный серый грубый известняк,
зелёные отметки наводнений,
подземные овраги – и сквозняк
там, где неверной левой я ступала
на твой ребристый серебристый спуск,
в колонию кальцитовых кристаллов,
не раскрывая створок, как моллюск,

от рукокрылых прячась в нишах скользких,
в меандрах холодея на ходу.
Мне скажет Персефона – ты не бойся,
иди, не так уж страшно здесь, в аду.
В энергию застывших водопадов,
в холодный бунт мерцающих озёр,
клыков известняковых эскапады
ты обратишь свой страх и свой позор.

Прошу – «Приятель, убери свой Nikon» —
уже одной из местных Персефон, —
как в храме – ну нельзя на фоне ликов! —
так здесь – нельзя, здесь сам ты – только фон!
Нет воли разозлиться, крикнуть – «тише!»,
их болтовня пуста – да неспроста.

Они галдят – чтобы себя не слышать —
и всё же их спасает красота,
по капле, не спеша, как сталактиты
растут в веках – так в нас растёт душа
Вселенной, так тысячелетья слиты
в спартанский твой космический ландшафт.
А поклониться каменной Медузе
лишь избранным дано – так за алтарь
не каждого пускают. Разве – музы
по кружевным полам, да пара стай

нетопырей. А в карстовых глазницах
звучит орган. Не поросли бы мхом!
И как бы мне в сердцах не разразиться
наивно-назидательным стихом...

«Этот город накроет волной...»

Этот город накроет волной.
Мы – не сможем... Да, в сущности, кто мы —
перед вольной летящей стеной
побледневшие нервные гномы?
Наши статуи, парки, дворцы,
балюстрады и автомобили...
И коня-то уже под уздцы
не удержим. Давно позабыли,

как вставать на защиту страны,
усмирять и врага, и стихию,
наши мысли больны и странны —
графоманской строкой на стихире.
Бедный город, как в грязных бинтах,
в липком рыхлом подтаявшем снеге,
протекающем в тонких местах...
По такому ль надменный Онегин

возвращался домой из гостей?
Разве столько отчаянья в чае
ежеутреннем – было в начале?
На глазах изумлённых детей
под дурацкий закадровый смех
проворонили землю, разини.
Жаль, когда-то подумать за всех
не успел Доменико Трезини.

Охта-центры, спустившись с высот,
ищут новый оффшор торопливо,
и уже нас ничто не спасёт —
даже дамба в Финском заливе,
слишком поздно. Очнувшись от сна,
прозревает последний тупица —
раз в столетье приходит волна,
от которой нельзя откупиться.

Я молчу. Я молчу и молюсь.
Я молчу, и молюсь, и надеюсь.
Но уже обживает моллюск
день Помпеи в последнем музее,
но уже доедает слизняк
чистотел вдоль железной дороги...
Да, сейчас у меня депрессняк,
так что ты меня лучше не трогай.

Да помилует праведный суд
соль и суть его нежной психеи.
Этот город, пожалуй, спасут.
Только мы – всё равно не успеем.

«Жить можно, если нет альтернатив...»

Жить можно, если нет альтернатив,
с их жалостью к себе и пышным бредом.
Скажи, когда сбиваешься с пути —
я здесь живу. Не ждите, не уеду.
Вдруг, ни с чего, поймёшь как дважды два —
тебя приговорили к вечной жизни —
когда плывёт по Горького трамвай —
одинадцатипалубным круизным...

А в небе лето – аж до глубины,
до доньшка, до самого седьмого —
акацией пропитано. Длинные
периоды его, прочны основы,
оно в себе уверено – плывёт
гондолой ладной по Канале Гранде
и плавит мёд шестиугольных сот
для шестикрылых, и поля лаванды

полощет в струях, окунает в зной
и отражает в колыханье света.
Так подними мне веки! Я давно
не видела зимы, весны и лета
и осени. Послушай, осени,
взгляни – и научи дышать, как надо!
...Свой крест – свой балансир – начнёшь ценить,
пройдя две трети этого каната.

В клоаке лета, в транспортном аду
строчить себе же смс неловко,
оформить то, что ты имел в виду,
в простую форму. Формулу. Формовка
стихий в слова и строки допоздна —
и смежить веки в неге новой сутры.
И выскользнуть из мягких лапок сна
к ребёнку народившегося утра.

«Истеричный порыв сочинять в электричке...»

Истеричный порыв сочинять в электричке,
свой глоточек свободы испить до конца,
внутривенно, по капле, ни йоты сырца
не пролить-проворонить, чатланские спички
не истратить бездарно. Побег
по ошибке – а значит, для муки,
тянут почки, укрытые снегом,
как ребёнок – озябшие руки.

На замке подсознание, ключик утерян,
не дано удержать себя в рамках судьбы —
лишь бы с ритма не сбиться. А поезд отмерит
твой полёт и гордыню, смиренность и быт.
Я вдохну дым чужой сигареты.
Частью флоры – без ягод и листьев —
встрепенётся ушедшее лето —
опылится само, окрылится,

и взлетит – несмышлёным огнём скоротечным.
Но шлагбаум – как огненный меч – неспроста.
Но в узоры сплетаются бренность и вечность,
жизнь и смерть, жар и лёд, и во всём – красота.
Этот калейдоскоп ирреален —
под изорванным в пух покрывалом —
вечно старые камни развалин,
вечно юные камни обвалов.

Это раньше поэтов манила бездомность,
а сегодня отвратно бездомны бомжи,
этот жалкий обмылок, гниющий обломок
богоданной бессмертной погибшей души.
Страшный след, необузданный, тёмный,
катастрофы, потери, протеста,
и в психушке с Иваном Бездомным
для него не находится места.

Не соткать ровной ткани самой Афродите —
чудо-зёрна от плевел нельзя отделить.
Кудри рыжего дыма растают в зените,
на немывтом стекле проступает delete.
Но в зигзаги невидимой нитью
мягко вписана кем-то кривая.
Поезд мчится. И музыка Шнитке
разрушает мне мозг, развивая.

«Диктат языка начинается с табула расы...»

Диктат языка начинается с табула расы
и школьной привычки обгрызть то, что держишь в руках,
с невнятной, крылатой, едва оперившейся фразы, —
стряхнув твои вздохи, эпитеты, блёстки и стразы,
лучом неподкупным и строгим ложится строка.

Симфония звуков, оттенков и запахов лета,
тебе одному предназначенный смайлик луны...
На лживый вопрос не бывает правдивых ответов,
и снова вернётся с жужжащим нытьём рикошета
унылая правда твоей нищезанской страны.

В глубинах фрактальной мозаики листьев каштана
проступит на миг – что сумею, в себе сохранию,
увидю, где хуже – да видимо, там и останусь.
Сбегу – мир не выдаст однажды открытую тайну,
она не случайно доверена мне – и огню.

Но сколько ни лей эталонную мёртвую воду,
ничто не срастётся – и дальше пойдём налегке.
Ни Чёрная речка, ни Припять, ни Калка, ни Волга
нас не научили – что ж толку в той музыке колкой,
тревожным рефреном пружинящей в каждой строке?

Порталы закрыты, здесь каждый в своей параллели,
– но слабенький звон несквозной переклички имён...
Со скрипом немазанным тронется жизни телега,
востребован стих некрещёным моим поколеньем,
как тонкая ниточка рвущейся связи времён...

Диктует язык – и уже раскрываются створки
моллюска души – ну, дыши, будь живее, чем ртуть,
и выпусти джинна пружину из тесной подкорки, —
я знаю, как надо, я здесь ничего не испорчу!
...Забудь о свободе. Придумай другую мечту.

Откуда свобода у тех, в чьём роду крепостные?
Дурная генетика в нас – и бессильны волхвы.
Безмолвствуют гроздя акации предгрозовые,
всё тише пасутся стада на просторах России,
планета Саракш разместила внутри головы.

Язычество многим даётся само, от природы,
а для христианства не вызрели свет да любовь.
Подняться над собственным опытом робкие пробы —

и есть твой полёт, твоё поле, твой вектор – за строгий
диктат языка, и что это случилось с тобой.

Ушедшему лету и новому фонтану на набережной

Слабо?

О том, как мириады...
нет, много, ладно, миллионы —
лианы, радуги, дриады,
в твоём сознание воспалённом —
здесь, наяву, потрогать можно
и не обжечься – но – не примут
в свой светлый танец
весь промокший
будь даже балериной-примой —
смешно и думать. Просто внемли,
благоговей, вбирай,
наполни все капилляры,
жилы, нервы.
...вольны – дискретны —
снова волны...

О том, что не фонтан – умеешь,
а тут – фонтан!
И ты бессилен
взгляд оторвать
гипноз
важнее нет ничего
вот разве синюю пунцовой
вглубь чернеет небо
чего ж ещё? – вода струится
сливается, дробится в небыль
и возвращается сторицей
как те слова...
сто леопардов,
лиловых золотых зелёных —
их ловят дети – прыгать, падать,
глотать осколки брызг солёных

спеши, пиши его с природы
насколько хватит ямбов, красок,
его сложнейшей партитуры
не исчерпать речёвкой страстной,
и этот хор – его кантаты,
их бесконечное кипенье —
вода – пылающие кудри,
о, детвора на карусели
вот так смеётся, пенье статуй,
огня, занявшегося пеной,
всем водопадом перламутра

в тебя впадает
воскресенье

Александрю Соболеву

Искандер, эти реки
тесны и горьки для того,
кто привык родниковой водой
утолять свою жажду.
Как ручьи ни чисты,
кто вступил в эту реку однажды —
не отмоеся,
нет иорданской волны.
Бисер твой
рассыпается, не успеваешь сыграть, ни догнать,
ну их к чёрту, такие игрушки.
Немало народу
не заметили сами,
когда же лишились огня
в благородном стремлении
выйти на вольную воду.
Только там, за буйками,
всего лишь трясёт и тошнит,
ничего больше нет.
Те, кто плавает в мелкой посуде,
застолбили фарватер,
развесили всюду огни,
незаконнорождённых (как Фет)
даже слушать не будут.
Постоянно рублю
каждый сук, на котором сижу,
и пытаюсь взлететь,
отвергая позор притяженья.
Получается изредка —
неосторожным движеньем
приоткрыть над собой
чьей-то воли бездонную жуть.
Эту чашу медовую
пёрышком не исчерпать,
все, кто был,
лишь притронулись
к терпкому лунному краю.
Для Сизифа камней неподъёмных
повсюду хватает,
и нетленной солёной колонной
висит снегопад.
В каждой осени —
новый обет избежавших клише.
В каждом омуте —
тихие черти волшебной свободы.

Камень, брошенный в воду,
всегда попадает в мишень,
в самый центр кругов,
с трепыханьем по левому борту.

«А снег так и не выпал. Он кружил...»

А снег так и не выпал. Он кружил
над городом в сомненье и смятенье,
носился над землёй неверной тенью,
но не упал. Лишь холодом до жил
ночь пробрало. Жестокая звезда
бесстрастно щекотала гладь бетонки,
а снег, потупясь, отлетел в сторонку
и выпал в Нальчике. Чужие поезда

вдруг осветили – человек лежит
в кювете. Но такому контингенту
не вызвать «скорую», как будто чья-то жизнь
отмечена печатью секунд-хенда.
Я откуплюсь от нищих и бомжей,
всем – по монетке. Спи, больная совесть.
Сам виноват. Смеркается уже,
пора домой, пока есть дом. А повесть
его проста. Сам виноват. Не я.
Перед собой. А я – не виновата
перед собой? Тащить-тяжеловато.
Невыносима лёгкость бытия.
А снег нас не прощает. Наши сны
не смяты ни виною, ни любовью.
Он где-то засыпает – до весны —
и ангел засыпает в изголовье.

3. Ласточке

*Твой мир огромней моего,
стремительнее, необычней,
не зная слов – куда его
ты воплощаешь духом птичьим?
Не зная музыки – во что
ты проливаешь слёзы, как ты
не задохнёшься красотой,
её простым и дерзким фактом?*



«Когда проходит время сквозь меня...»

Когда проходит время сквозь меня,
ему покорно открываю шлюзы —
не стоит перемычками иллюзий
задраивать отсек живого дня,
и ламинарный лимфоток столетий
не заслонится частоколом дел,
а время растворяется в воде,
качает мёд – наверно, в интернете...

Я покорюсь – и вот простой узор
читается цветной арабской вязью,
двумерный мир взрывается грозой,
дорогой, степью, неба органзой,
причинно-следственной необъяснимый связью.
Такой диалектический скачок —
забыть себя – чтобы собой остаться.
...Подсолнухов – не меньше, чем китайцев,
и все влюблено смотрят на восток.

Когда пытаюсь время удержать,
используя истерики, торосы,
пороги, слёзы – ни одна скрижаль
не даст ответа на мои вопросы.
Смятенье турбулентного потока
порвёт, как тузик грелку, мой каприз.
Во мне живёт латентный террорист,
и я за это поплачусь жестоко.

Домой! Мой дом древнее Мавзолея.
Жизнь удалась. Хай кволити. Кинг сайз.
Спасибо, время, что меня не лечишь,
не утешаешь меткой в волосах.
И в позе аскетической, неброской
подсолнухи в гимнастике тайдзи.
Мне ничего плохого не грозит
с такой самодостаточной причёской.

«Модем зарницы мечет. Тень от люстры...»

Модем зарницы мечет. Тень от люстры
танцует странный танец потолочный.
Мой дом непрочный – не настолько, чтобы
не сохранить инерцию покоя —
опять дрожит невнятицей, строкою
несбыточной – до белизны, до хруста.

Взрывают храмы, подземелья роют —
нестройный клин, несмелый иероглиф
приносит весть – пути исповедимы
у ветра, у орла, у дев... Однако
ничто не предвещало снова зиму —
лишь лебединый почерк Пастернака.

Мне кофе. Больше чашку, эта слишком
мала. Я буду жить, не напрягаясь.
Носков махровых полосатых роскошь
впущу в мой мир, и плюшевого мишку.
Вас не впущу. Смолчу, переморгаю,
не доверяя матери-природе.

Домбайское

Веди меня за солнечным руном,
овечьей шерстью грей январским утром,
пой – в морозном, синем, кружевном —
горячим терпким ягодным вином,
окутывай туманом златокудрым.
Да, это верно, дар даётся в долг,
и, видимо, совсем уже недолго
мне жить в раю, где каждый свежий вдох
горчит виной несбывшегося долга.

Все деградируют. Я тоже, в их числе,
поскольку рабство – пища для планктона
косноязычного. Мне мой негорький хлеб
свободы стоит... Мягко-непреклонны
святые ели – в облаках поют —
с открыток детства – видят всё, до лета —
мне надо жить, а я брожу в раю,
дышу озоном и пою куплеты

из мантр БГ. Цветные тиражи,
туманы, океаны, миражи,
несметных птиц Твоих живые лики, —
квадриллионы злаков, трав и листьев,
единых в миллионах вариаций.
Ты прав, что не желаешь повторяться
и штамповать, как мы – поступки, сны, —
в безвольном ожидании весны.

Сквозь времена нас вечно тянет в сад,
откуда изгнаны, в ущелья и леса,
но мы уходим вниз – в поту лица
искать свой хлеб и прочее иное
ненужное, и подличать спиною,
неся потенциал своей судьбы
в глазах и незадачливых движеньях.
Я здесь – на лыжи – вниз, стремление быть —
сильнее логики – в простом скольженье

есть счастье. Как этой ели, мне
судьба тянуться к солнцу неустанно,
и удержать на сильных лапах снег,
храня его слепую первозданность.
Сосновых шишек на меду настой,
тепло глинтвейна и подол тумана...
Пока не стала серой и глухой —

разбереди мне снова эту рану.

В уютной чаше старого Домбая
ещё раз убедиться, что живая.

«Не стало блаженных – и кто нам предскажет пожары...»

Не стало блаженных – и кто нам предскажет пожары,
погромы, поборы, кто вовремя нас остановит?
Я всё же немного сложнее воздушного шара —
наверное, возраст. Всё так упростилось: до крови,

до рожи синюшной, счастливо зияющей в зиму
беззубой улыбкой – как радость в нас неистребима...
Не сдержит нас слово, в котором не стало закона —
изжито, отжато и выглядит жмыхом лимонным.

Сегодня приснилось под утро – мы утро лепили,
совсем неумело, из липкого серого хлеба,
нелепо, руками. Нас этому плохо учили,
разорвана связь поколений. Но рваное небо

беременно снегом. Неважно, что серое – белым,
чистейшим, наш случай хронический, что с нами делать?
Покой, ощущение дома встаёт из тумана —
ведь каждый ребёнок – не только от папы и мамы.

Из сотни юродивых – сколько глядит в фарисеи?
Не стало стыда, диким шабашем выглядит праздник.
По-прежнему тупо и неумолимо взрослою.
Сегодня меня без перчаток и трогать опасно.

«Только в пять выхожу...»

Только в пять выхожу —
чем же мы не полярные совы?
Если солнце и есть —
мы с ним словно бы и не знакомы.
В темноте человека не видно —
плывём, невесомы,
не в себе и ни в ком,
имяреки, до самого дома,
словно реки, течём —
никогда не впадая друг в друга,
в параллельных реальностях
мыслей, забот, представлений
о прошедшем и будущем,
ноги футболят упруго
шар земной терпеливый,
слегка раздражённые тени
поглощаются транспортом,
чтобы смениться другими,
наше время – не деньги,
оно нам гораздо дороже,
и кредит не возьмёшь...
Так недолго носить своё имя,
так немного успеешь понять
в этот вечер морозный.

«Декабри не кончаются, это пустые листы...»

Декабри не кончаются, это пустые листы
неотбеленной свежей прохладной форзацной бумаги,
к новогодней мистерии чуткой. Светлейшей из магий
мы их просто штрихуем дождями, наводим мосты
между днями и вечностью через провалы судеб,
золотые ущелья без доступа внешней тревоги.
Мир сбивал меня с ритма – сосед вечно слушает рэп.
Это дождь накосячил – горшки обжигают не боги.

За свинцовость реки, размышляющей, течь или сны
вековые смотреть до несбыточной новой весны,
за свинчатку дождя, за покровы обугленных туч
стебельком неразумным проклюнулся узенький луч,

так прорежутся крокусы в марте сквозь твердь изнутри,
острым ножичком вспорют бездарную плотность и сухость
наслоений – сказать: не могло – но случилось, смотри —
много спросится, только ответ – за пределами слуха.
У земли, непохожей на губку, невидимых пор,
жадно пьющих и алчущих – тысячи, – воду ли, время...
Кудри рыжего дыма, вращаясь, уходят в раствор
облаков, доказавших незыблемый хлад теоремы.

Я закрою глаза – изнутри догорает огонь,
ярко-красный, и бьётся – вот именно – в тесной печурке
головы. Ветер выдуть старался нагой —
только волосы выпрямил. Пусть задувает окурки.
Я устала, я так отдыхаю – вздыхаю и чай
прогоняю сквозь поры и листья, сквозь клетки, и трубки —
там их много, я видела видео. Музы молчат —
значит, пушки вступают, и вдрызг разлетается хрупкий
день – встряхнуть и расправить,
как скатерть на чистом столе,
я сама виновата в бездарности пьесы недлинной,
виновата – не больше той женщины на корабле,
я же помнила в юности главный свой эквивалент,
мирозданье равнялось... чему? В той системе зеркал
ты всегда находил, даже если не слишком искал,
оправданье всему, в чём достаточно адреналина.
Искривлённость пространства на лицах почти не видна —
все закрыты, разумны, причёсаны строго и просто.
Но смотри – изнутри в Темерник набегают волна
и тревожит устои железобетонного моста.

Через тысячу лет не узнаем названия рек.

Городов очертанья на карте и речь – всё иное.
Ну так что мне привычный двукратно подтаявший снег,
длинный стих мой невнятный, размытый плеснувшей волною.

Мир прекрасен и хрупок... Но я не об этом сейчас.
Есть лекарство в конце от иллюзий, амбиций, идиллий.
Полыханье физалиса выхватит гаснувший глаз —
спасены. Всё вернулось. И вспомним, зачем приходили.

«Мой двор, лоскут вселенной отрезной...»

Мой двор, лоскут вселенной отрезной
с её дождями, листьями, весной —
неброской, без рисовки и вранья,
с собачьим лаем, граем воронья,
с экспансией голодных муравьёв,
грызущих наше бренное жильё,
и чередой жерделовых стихий,
впадающих в варенья и стихи.

Встать до восхода и писать, писать,
пока луна цела и голоса
эриний мирно ладят за окном,
пока во мне – светло, в окне – темно.
Но это будет завтра, а пока
вновь – пятница, последний день Сурка.

Река – узка, изломана, остра.
Как спинка молодого осетра,
изрезаны и топки берега,
нечастая ступает здесь нога,
войти в неё и подвести итог —
соврать себе,
что ты хоть что-то смог.

Сад брошен, вишни вянут на ветвях.
Мы не нужны Тебе? Извечный страх,
живущий в неуютных головах.
Излишество набора хромосом.
Ещё не старым ржавым колесом
я докачусь до горнего суда,
я попрошу вернуть меня сюда.

«Полусонной стопой зацепившись за стебель колючий...»

Полусонной стопой зацепившись за стебель колючий,
засмеёшься и вспомнишь взглянуть на искристую реку,
напоследок, пока не вцепился, используя случай,
твой рассудок в тебя, возвращая назад, в человека,
что ни утро. Ведь так никогда не взлетишь, не ворвёшься
в тонкий перистый слой легкокрылым пульсаром пернатым.
Утро мимо стрижом пролетает – меня не тревожа,
в паутинке судьбы проступают стальные канаты.

Снова точка росы. Настоять на своём и не пробуй.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.